

ЕВРАЗИЙСТВО И КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: СОБЛАЗН АНТИЗАПАДНИЧЕСТВА В РОССИИ И ГЕРМАНИИ¹

Л. Люкс

Католический университет г. Айхштетт (Германия)

Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ идеологий консервативной революции в Германии и евразийства в России начала XX века. Автор демонстрирует идейное родство русских евразийцев и немецких революционных консерваторов. К сходным для обеих идеологий чертам относятся: антидемократизм, почвенничество, антиматериализм, антикапитализм и др. Но главное, что объединяло оба идеологических течения, — это отстаивание «особого пути» развития Германии и России и изоляционистские установки по отношению к Западу.

Ключевые слова: политические идеологии, консерватизм, консервативная революция, евразийство, «Особый путь».

I

Первая мировая война завершилась крахом авторитарно управляемых империй и убедительной победой западных демократий. Следствием этой победы было, однако, восстание против Запада, протест против присущих Западу ценностных ориентаций, заявленный с небывалым для подобных движений радикализмом.

Примечательно, что во главе этого движения оказались выдающиеся умы. Уже в 1927 г. Жюльен Бенда заговорил о «предательстве интеллектуалов». Антизападный дискурс с особым упорством вели представители немецкой и русской духовной элиты, продолжая тем самым глубоко укоренённую в обеих странах традицию противостояния западному пути развития. Свои упрёки они адресовали не только Западу, но и собственным правительствам, ослеплённым, как им казалось, чужими приманками. Веймарская парламентская система представлялась противникам Запада в Германии чем-то вроде западного оккупационного режима, навязанного стране державами-победительницами. Впрочем, и в России воинствующие антизападники считали большевизм импортированным из-за границы феноменом; по их мнению, это было новое издание петровского плана европеизации России.

Действительно, большевики вовсе не были склонны отвергать Запад как таковой. Тезис о предстоящем «закате Европы» их не убеждал. Европейская буржуазия — вот кто был об-

¹ Впервые опубликовано в: Вопросы философии. — 1996. — № 3. Печатается с разрешения автора.

речён, а отнюдь не весь Запад. Предчувствие близящегося конца у правящих классов, утверждали большевики, лишь подтверждает коммунистический прогноз — крушение капитализма, которое стоит уже на пороге. Модная на Западе пессимистическая философия Освальда Шпенглера — верное классовое предчувствие буржуазии, не замечающей, однако, пролетариата, который должен её заменить, писал Троцкий в 1922 г. [Троцкий 1924: 549].

Ленин ещё в начале века считал нелепостью пророчества о гибели Запада. Они стимулировались победой Японии над царской Россией в 1903 г. Триумф Японии развеял миф о непобедимости Европы. Ленин приветствовал победу японцев. Для этого у него было две причины: во-первых, поражение царского режима ускорило революционный процесс в стране; во-вторых, как думал Ленин, поражение России было свидетельством непрочности всего мирового порядка. Россия принадлежала к кругу европейских великих держав, поделивших мир между собой. Теперь пробуждающаяся Азия нанесла удар по мировому владычеству европейской буржуазии. Такое потрясение геополитических основ было Ленину, разумеется, на руку. Но это вовсе не означало, что он верил в некий особый азиатский путь, отличный от пути Европы. Вот что писал Ленин накануне Первой мировой войны о борьбе Азии за освобождение, усилившейся после русско-японской войны: «Не значит ли это, что сгнил материалистический Запад и что свет светит только с мистического, религиозного Востока? Нет, как раз наоборот. Это значит, что Восток окончательно встал на дорожку Запада, что *новые сотни и сотни миллионов* людей примут отныне участие в борьбе за идеалы, до которых доработался Запад. Сгнила западная буржуазия, перед которой стоит уже её могильщик-пролетариат» [Ленин 1968: 402].

Всё это свидетельствует о том, что большевиков лишь с большими оговорками можно считать противниками Запада. В традиционном русском споре западников и славянофилов большевики занимали скорее западническую, радикальную позицию. Веру в особый путь России они не разделяли. Если у России и было своеобразие, то оно сводилось, по мнению большевиков, к её отсталости. Подобно другим русским западникам от Петра I до Сергея Витте, они только и мечтали о том, чтобы догнать высокоразвитые страны Запада.

После Октябрьской революции большевики устранили всех своих идеологических противников; непогрешимость партии исключала всякую критику провозглашённых ею догм. Продолжение дискуссии между приверженцами особого русского пути и теми, кто его отрицал, отныне стало возможным лишь в эмиграции. Здесь безусловную инициативу захватили радикальные критики Запада.

Хотя во многом они опирались на традиционное славянофильство, их критика содержала и ряд существенно новых положений. Революционный катаклизм 1917–1920 гг. взорвал старые идеологические схемы. Качественно новая точка зрения нашла своё выражение уже в появившейся в 1920 г. работе лингвиста Николая Трубецкого «Европа и человечество». Доводы Трубецкого принципиально отличались от аргументации его предшественников — славянофилов и панславистов. Коренное противоречие эпохи, по Трубецкому, — не в противостоянии славян и западноевропейцев, а в конфликте между Европой и остальным человечеством. Европа считала себя венцом создания и даже не давала себе труда задуматься над собственным беспримерным эгоцентризмом, утверждает Трубецкой. Всё европейское автоматически считалось универсальным, обязательным для всех. Самодовольство европейцев, не знающее границ, деморализует другие народы, продолжает Трубецкой. Они начинают стыдиться своих идеалов, ибо идеалы эти не совпадают с европейскими. Автор «Европы и человечества» не рассматривает Россию как европейскую державу, для него она — часть остального мира, духовно и материально порабощённого Европой. России предстоит присоединиться к всемирному восстанию неевропейцев против засилья старого континента. Но бунт против Европы должен быть нацелен не только на Европу — в первую очередь он должен происходить внутри: неевропейцы обязаны преодолеть внушённое Западом предубеждение против мнимой

неполноценности их собственной культуры, они должны разоблачить эгоизм, который скрывается за хвалёным универсализмом европейцев.

Довольно скоро у Трубецкого нашлись единомышленники, исходившие, как и он, из непримиримого противоречия между Востоком и Западом. В 1921 г. вышла книга группы авторов с программным названием «Исход к Востоку». Так возникло движение, получившее название евразийства.

Чаяния славянофилов, их надежды на особую роль славянства не оправдались [Исход к Востоку... 1921: IV] писали издатели книги. Вот почему евразийцы обратили свой взор на Восток, к народам, населяющим Российскую империю. Ни одно европейское государство не может сравниться с Россией, говорится далее в книге «Исход к Востоку», ибо Россия — не нация в обычном смысле слова, но целый континент — Евразия: «Русские люди и люди народов „Российского мира“ не суть ни европейцы, ни азиаты. Сливаясь с родною и окружающей нас стихией культуры... мы не стыдимся признать себя — евразийцами» [Там же] .

По убеждению евразийцев, европейские формы жизни неприменимы к России. Они для нас слишком узки. Как писал Н. Трубецкой, русский панславизм представлял собой не более чем карикатуру на пангерманизм и был нежизнеспособен [Трубецкой 1921: 84].

На евразийском континенте сложился симбиоз культур, по сути дела не имеющий себе равных. Особо подчёркивают евразийцы лёгкость, с которой русские усвоили многие элементы восточных культур. Ничего подобного не произошло во взаимоотношениях России с Западом. Западные ценности не удалось соединить с русскими, они не вошли в плоть и кровь народа. Лучшее доказательство этому — неудача Петровской реформы. Никакой завоеватель не сумел разрушить *русскую национальную культуру* так, как это сделал Петр, пишет Трубецкой. И революция 1917 г. — таково убеждение евразийцев — была ни чем иным, как возмущением народа против дела Петра Великого, она была следствием раскола нации, в котором повинен царь-преобразователь [Трубецкой 1925: 35–39].

В разработке концепции евразийства приняли участие этнологи, географы, языковеды, историки, правоведы и пр. Это разительно отличает евразийство от большинства идеологий, возникших в Европе между двумя мировыми войнами. Тут за дело взялись не дилетанты и политические доктринёры, а люди, прошедшие научную школу, владевшие искусством изощрённого анализа. Вот почему воздвигнутое евразийцами построение не так просто было повалить, хотя большинство русских эмигрантов было изрядно шокировано их откровениями. Так, совершенно по-новому оценивалась евразийцами эпоха господства татар на Руси. До сих пор татаро-монгольское иго считалось самой трагической страницей русской истории. Евразийцы, напротив, его прославляли. Не Киевская Русь, доказывали они, была прямой предшественницей русского царства, а держава Чингисхана. Киевская Русь занимала всего лишь одну двадцатую часть нынешней российской территории. Империя монголов территориально почти совпадала с современной Россией. Чингисхан стоит у истоков грандиозной идеи единства Евразии; в XVI столетии Москва перенимает от татар эту идею.

Катаклизмы XX в. привели к тому, что в Евразии возникла альтернатива доселе господствовавшей в мире европейской цивилизации. Евразиец Петр Савицкий патетически вопрошал: «Не уходит ли к Востоку богиня культуры, чья палатка столько веков была раскинута среди долин и холмов Европейского Запада..? Не уходит ли к голодным, холодным и страждущим..?» [Савицкий 1921: 3].

На первый взгляд, этот вопрос повторяет слова Достоевского, призывавшего русских отвернуться от неблагодарного Запада и обратить взгляд на Азию. На самом деле речь идёт о другом. Достоевский не подвергал сомнению европейский характер русской культуры. Наоборот, русские с их способностью вчувствования в тончайшие нюансы европеизма для Достоевского — больше европейцы, чем сами жители Европы. Но так как надменные европейцы не желают признать за русскими это преимущество, нам следует устремить наш цивили-

зиторский порыв в сторону Азии: «В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии мы европейцы».

С рассуждениями евразийцев эта мысль мало согласуется. Если уж искать духовных предков евразийства, то скорее придётся признать сходство с Константином Леонтьевым, которому тоже хотелось отгородить Россию от Запада глухой стеной. Леонтьев указывал на туранский компонент национального характера русских: «Только из более восточной, из наиболее, так сказать, азиатской — Туранской, нации в среде славянских наций может выйти нечто от Европы духовно независимое» [Леонтьев 1885: 295]. Вместе с тем между взглядами Леонтьева и евразийством существуют принципиальные различия. Леонтьев — в противоположность евразийцам — не отвергал западную культуру как таковую. Его критика была в первую очередь направлена на буржуазный и демократический дух, который восторжествовал, как казалось Леонтьеву, в этой культуре в результате Французской революции. Все симпатии Константина Леонтьева принадлежали старой, феодально-аристократической Европе.

Таким образом, отыскать прямых предшественников евразийства среди русских мыслителей прошлого нелегко. Радикально порывая со всеми феноменами западноевропейской культуры, выдвигая в истории русской государственности на передний план татаро-монгольское наследие и призывая чуть ли не весь мир подняться против господства Европы (тут у евразийцев были очевидные точки соприкосновения с большевиками), идеологи евразийства, по существу, встали на новый путь. Взвинченная риторика, странноватый комплекс идей евразийства отвечали революционному характеру эпохи, породившей их концепцию.

II

Но с такими же крикливыми декларациями, с не менее причудливыми идеями выступали в те годы и некоторые властители дум в Германии. И они тоже грезили о преодолении гегемонии Запада, а заодно — о разрушении традиционных принципов цивилизации.

Не «восстание масс» (Х. Ортега-и-Гассет), а бунт интеллектуальных элит — вот что нанесло гуманизму самый ощутимый удар, писал об этом в 1939 г. русский историк и публицист Георгий Федотов [Федотов 1939: 102]. Наглядным подтверждением этих слов может служить так называемая консервативная революция в Веймарской республике. Подобно евразийству, консервативная революция насчитывала в своих рядах немало рафинированных умов и блестящих стилистов. В отличие от нацистских демагогов они подкапывались не только под политический, но и под духовный фундамент первой немецкой демократии. Хотя у «консервативных революционеров» были кое-какие предтечи (непрямые предшественники были и у евразийцев), как особое явление консервативная революция приобрела отчётливые черты лишь в связи с событиями 1918–1919 гг. Без «переживания войны», без Версаля и без Веймара подобный идеологический феномен едва ли был возможен.

Само по себе обозначение «консервативная революция», оксюморон, составленный из несовместимых понятий, говорит о необычности, парадоксальности того, что под ним подразумевалось. «Национальная спесь, не желающая... смириться с военным поражением, — пишет в этой связи политолог Ганс Бухгейм, — пока что ещё не могла двинуться на своего врага и потому ополчилась против собственного государства, как если бы ликвидация этого государства была первым условием национального возрождения» [Buchheim 1958: 54].

В то же время — и это резко отличало их от большевиков — сторонники консервативной революции отрицали настоящее не во имя «светлого будущего», а ради торжества старой, восходящей к Средневековью имперской идеи. И здесь параллели с евразийством особенно бросаются в глаза. Радикальная новизна, говорил Н. Трубецкой, есть не что иное, как обновлённая далёкая старина; всякое радикальное обновление апеллирует к древнему, а не к недавнему прошлому. Трубецкой имел в виду отталкивание евразийцев от послепетровской

России во имя Святой Руси. В свою очередь, немецкие «консервативные революционеры» отвергали эпоху Вильгельма II и прославляли средневековый рейх.

Для них тяжёлые условия Версальского договора (впрочем, не более тяжёлые, чем условия, продиктованные Германией большевистскому правительству в Брест-Литовске) были достаточным основанием для того, чтобы разнести в щепы существующий европейский порядок. Узвлённое национальное самолюбие — вот что стало господствующим мотивом их умонастроения и основой их тактики; утолить эту боль не могли никакие ссылки на общее европейское и христианское наследие.

«Мы — народ в узах, — писал в 1923 г. Артур Мёллер ван ден Брук, один из зачинателей консервативной революции. — Тесное пространство, в котором мы зажаты, чревато опасностью, масштабы которой непредсказуемы. Такова угроза, которую представляем мы, — и не следует ли нам претворить эту угрозу в нашу политику?» [Moeller van den Bruck 1931; Moeller van den Bruck 1933: 32–43, 69–71, 110–111, 121–122].

Отвращение к Западу и либерализму у немецких антизападников приняло, пожалуй, ещё более решительные формы, чем у евразийцев. Несомненно, это было вызвано тем, что в Германии радикальные идеологи обратили свою критику прежде всего против внутривнутриполитического противника, то есть против политического строя, установившегося после 1918–1919 гг. Евразийцы же рассматривали своего политического контрагента внутри страны — большевизм — при всех оговорках все-таки как альтернативу западной демократии [Luks 1986: 374–395].

Многое из того, что присуще было советскому режиму — террор и в особенности культурную политику советской власти, — евразийцы не принимали. Пропагандируемая большевиками так называемая пролетарская культура, говорили они, на самом деле — лишь примитивное подражание всё той же западной культуре. Вместе с тем евразийцы считали особой заслугой большевиков то, что те сумели в значительной мере восстановить распавшуюся в 1917 г. Российскую империю. С сочувствием отнеслись евразийцы и к солидаризации советского государства с колониальными народами в их борьбе против европейских метрополий [Трубецкой 1925: 77].

Что касается «консервативных революционеров», то их отношение к собственному государству было непримиримым. Заимствованный у Запада либерализм был объявлен смертельным врагом немцев — да и всего человечества. Для Мёллера ван ден Брука либерализм — «моральный недуг народов»: он являет собой свободу от убеждений и выдаёт её за убеждение [Moeller van den Bruck 1923]. Здесь отчётливо слышится характерная для певцов консервативной революции наставительная, морализаторская нота. Гуманизм для авторов, находящихся под впечатлением несправедливого Версальского договора и потому готовых разрушить весь мир, — это «слиюни», предмет насмешек, что не мешает им, не моргнув глазом, обвинить либералов и либерализм в нравственном индифферентизме.

Неудивительно, что этот морализирующий аморализм, который даёт незамедлительное отпущение грехов собственным несправедливым деяниям, а противника клеймит как неисправимого злодея, — так притягательно действовал на многих.

Вовлечение Германии в круг либерально-демократических государств — результат интриг коварного Запада. Сам-то Запад, считает Мёллер ван ден Брук, к либеральному яду нечувствителен, на самом деле никто там не верит всерьёз в принципы либерализма. А вот в Германии их принимают за чистую монету. Не видят, что либерализм несёт с собой разложение и гибель. Западные державы не сумели одолеть немцев в честном бою — и теперь пытаются погубить Германию с помощью революционной и либерально-пацифистской пропаганды. И глупые немцы покорно глотают эту отраву [Там же].

То, что немецкое Верховное командование в 1917 г. обеспечило Ленину беспрепятственный проезд в Россию, то, что оно рассматривало экспорт революции как законное средство борьбы с противником, попросту сбрасывалось со счетов. Нужно было любой ценой от-

влечь внимание от собственной вины и собственной несостоятельности. Тем громче и назойливей были инвективы против мнимого врага. Герман Раушнинг, в прошлом сторонник консервативной революции, находил позднее, что мифы и легенды, которыми было окутано поражение Германии в Мировой войне, довели страну до состояния, близкого к массовому помешательству. По его словам, самые благородные планы и начинания не в силах удержать нацию, находящуюся в подобном состоянии, от движения к пропасти [Rauschning 1941].

Таким же безграничным, как их мания величия, было упоение «консервативных революционеров» национальными бедами. Теперь оказывалось, что единственное средство утолить страдания немцев — это мировое господство. «Владычество над землёй — таково средство сохранить жизнь, предоставленное... народу перенаселённой страны, — считает Мёллер ван ден Брук. — Вопреки всем противоречиям, устремления людей в нашей перенаселённой стране направлены к единой цепи: нам необходимо пространство» [Moeller van den Bruck 1923: 63, 71–72].

О геополитическом переустройстве мира толковали и евразийцы. Однако их программа не имела ничего общего с мечтаниями веймарских интеллектуалов. Евразийцев интересовала не власть над миром, а географическое пространство, рама для единой многонациональной российской державы. Они понимали, что пролетарский интернационализм, на основе которого большевики сплотили заново развалившееся было государство, долго не продержится. Цементировать государство он не может. Сегодня мы видим, что их сомнения были оправданы. Национальные чувства у рабочих, как правило, выражены сильнее, чем классовая солидарность, утверждал в 1927 г. Трубецкой. Чтобы оставаться единым государством, Россия должна найти другую основу для своей консолидации, и такой основой может быть только евразийство, апеллирующее к тому общему, что есть у всех российских народов [Трубецкой 1927: 24–30].

Перед глазами евразийцев вставало видение краха большевиков в результате торжества евразийской идеи. Они гордились тем, что их движение нашло отклик не только в эмигрантской среде, но и в самой России. Евразиец Чхеидзе даже выражал надежду (1919), что постепенно удастся преобразовать большевистскую партию в партию евразийства. И в этом отношении он был в рядах движения не одинок [Luks 1986].

III

Евразийцы были выраженными изоляционистами. Они не собирались спасать Европу, но хотели, как некогда Леонтьев, оградить Россию от губительного, как им казалось, западного влияния. В Германии же — если вернуться к консервативной революции — критики Запада мечтали о новом вооружённом походе против западных держав. Война была, по их убеждению, той стихией, где немец чувствует себя вольготно. Эрнст Юнгер писал, что немец, обряженный в гражданское, буржуазное одеяние, выглядит смехотворно. Почему? Да потому, что он по своей натуре бесконечно далёк от идеи индивидуальной свободы и, следовательно, от буржуазного общества [Jünger 1932].

Существует только одна масса, которая не вызывает смеха: это армия, добавляет Юнгер [Jünger 1933]. Освальд Шпенглер вещает: «История государства есть история войн. Идеи, требующие решений..., отстаивают не словами, а силой оружия» [Spengler 1920: 52–53]. Британский историк Льюис Немьер даже называет войну одной из форм немецкой революции [Namier 1947: 25–40]. Похоже, что спасение, которое чаяли обрести последователи консервативной революции в «переживании войны», оправдывает этот тезис.

Американский историк Генри Тёрнер полагал, что Первая мировая война поставила под вопрос старинный европейский идеал храбрости. Анонимное, методическое истребление людей дезавуирует традиционные воинские добродетели. Для миллионов людей вера в личный героизм стала абсурдом. Как бы вторя Тёрнеру, другой, немецко-американский историк

Вольфганг Зауэр говорит о мощном пацифистском брожении в послевоенной Европе; это брожение грозило, по его мнению, развенчать самый образ солдата [Turner 1972: 168-169; Sauer 1967: 411].

Успех воинственной и прославляющей войну правозкстремистской идеологии в период между двумя войнами, прежде всего в Германии и Италии, начисто опровергает этот тезис. Гипноз войны, всеокрушающей военной техники был куда сильнее, чем всякие сомнения относительно смысла войны. Этот примечательный феномен ещё в 1928 г. привлёк внимание немецкого публициста Морица Юлиуса Бонна. Идеализация войны, писал он, — анахронизм, война в наше время — это не наивно-безотчётное упоение битвой, как во времена легендарных героев, современная война — это машина, это предприятие по массовому уничтожению людей. И все-таки такую войну прославляют! [Landauer, Honegger: 131-132]

Немецким противникам парламентской демократии она представлялась «нерыцарственной». Ноябрьская революция 1918 г. оказалась неспособной защитить страну, писал Эрнст Юнгер. Она обернулась против солдат на фронте. Мужество, честь, мужская стойкость — эти понятия были ей чужды [Klaus-Friedrich 1963: 66]. Освальд Шпенглер с презрением пишет о «неописуемо безобразных» ноябрьских событиях: «Никакого величия, ничего вдохновляющего. Ни одной по-настоящему крупной фигуры. Ни единого слова, выдерживающего испытания временем. И даже ни одного отважного преступления» [Spengler 1920: 11].

Поборники консервативной революции повторяют избитый тезис консерватизма: либерализм враждебен живой жизни. Либерализм разрушает народную общность, поощряет низменные эгоистические устремления индивидуума. В атомизированном либеральном социуме на переднем плане оказывается не служение общему делу, а эгоизм, себялюбие, собственные корыстные интересы [Moeller van den Bruck 1923; Schmitt 1931; Schmitt 1932; Schmitt 1963].

Эти заявления почти буквально совпадают с критикой Запада у евразийцев. Н. Алексеев считает, что борьба за права индивидуума — центральный мотив всей европейской культуры. Сперва боролись за свои права сословия, со времён Ренессанса начинается борьба личности за свои собственные права. Что же касается обязанностей по отношению к обществу, то различные заинтересованные группы смирились с ними лишь после упорного сопротивления [Алексеев 1928: 19–26].

Внутренне расколтому Западу евразийцы пытались противопоставить русский идеал общественной гармонии, выпестованный православием. В православном мире, по их мнению, царит не эгоистическая грызня индивидуумов, не конфликт, а мир — человеческая солидарность. Этот гармонический идеал будто бы придавал древнерусскому обществу беспрецедентную однородность [Шахматов 1923: 55–80; Шахматов 1925: 268–304; Сувчинский 1923: 27–29].

Альтернативу либеральной общественной модели выдвигали и «консервативные революционеры». Но для них это было общество, облагороженное военным энтузиазмом 1914 г. Летом Четырнадцатого года немцы, охваченные единым порывом, казалось, преодолели все свои политические, социальные и межрегиональные раздоры. Нация, доселе разрываемая противоречиями, «больше не знала никаких партий». Идеалы 1914 г. преданы Веймарской демократией. Поэтому она представляла собой в глазах «консервативных революционеров» нечто временное, промежуточное и эфемерное. На смену ей придёт «Третья империя» и, как в Четырнадцатом, борьба правых и левых, столкновения католиков с протестантами, противоборство Юга и Севера отпадут сами собой.

Для Карла Шмитта веймарская либеральная интермедия по сути вообще не была государством. Отдельные сегменты общества (партии, союзы, связанные общими интересами, и т. п.) захватили власть в стране и злоупотребляют ею ради собственной выгоды. Государство как воплощение общего дела практически упразднено; Шмитт темпераментно доказывал необходимость президентского правления, то есть режима во главе со «стражем конституции» — рейхспрезидентом. Новое, чиновничье государство должно оградить себя от разлага-

ющего влияния общества, с тем чтобы заново вести политику в традиционном смысле слова [Schmitt 1931].

В 1930 г. грёзы Шмитта осуществились. В Германии установился якобы надпартийный президентский режим. Он всё больше ускользал от общественного контроля и в конце концов выдал государство его смертельным врагам.

IV

И русские евразийцы, и немецкие «консервативные революционеры» усматривали неисцелимый недуг либерального, иначе законодательного, государства в его мнимой неспособности принимать решения, справляться с «критическими ситуациями». В законодательном государстве, сетует Карл Шмитт, распоряжаются не люди и не начальство, а законы. Исконное и нерушимое понятие власти подменено абстрактными нормами [Schmitt 1932].

Ученик Шмитта Эрнст Форстхоф добавляет: честь и достоинство — личностные категории; правовое государство устраняет всё личное; поэтому оно не знает понятий чести и достоинства [Forsthoff 1933: 13, 20].

Так в стане консервативной революции распространилась мечта о настоящем хозяине — тоска по Цезарю. Харизматический вождь, явление которого ещё в XIX и начале XX в. предрекали, одни с тревогой, другие — связывая с ним великие надежды, некоторые видные европейские умы [Nietzsche 1926: 273; Weber 1958: 21], должен был заменить господство внеличных институтов владычеством воли.

Цезаристская идея имеет в Западной Европе давнюю традицию. Ещё Макиавелли был одержим мечтой о властителе, чьи деяния и свершения вызволят Италию из-под гнёта старых установлений, о вожде, который объединит страну. Образцами для Макиавелли служили кондотьеры эпохи Возрождения. Эти люди поднялись из низов, всем были обязаны самим себе и благодаря своим выдающимся талантам стяжали славу и власть. Кондотьеры сметали древние династии и отжившие институции, смело вводили новый порядок в своих государствах. Таким же новым Цезарем, но в несравненно большем масштабе, был и Наполеон.

Кризис парламентарной системы, с особой остротой поразивший после 1918 г. Италию и Германию, подогрел в обеих странах тоску по харизматической личности. В лице этого сверхчеловека должен был возродиться исконно-личный характер политики. Отныне пусть снова властвуют герои, а не доктрины, классы или анемичные учреждения.

Эрнст Никиш, приверженец консервативной революции, впоследствии отошедший от нее, писал в 1936 г.: «(Немецкая буржуазия) насытилась безликой законностью, презирала свободу, охраняемую законом; эти массы хотели служить конкретному человеку, преклониться перед личным авторитетом, перед диктатором... Неожиданные зигзаги, прихоть и произвол „вождя“ они готовы были предпочесть строгой предсказуемости раз и навсегда гарантированного законного порядка» [Niekisch 1953: 87].

В своих поисках альтернативы либерализму евразийцы значительно отличались от «консервативных революционеров».

Прежде всего, им была совершенно чужда мечта о «Цезаре». Новая власть, новый порядок должны были в первую очередь ориентироваться не на личности, а на идеи. Европа, подчеркивали идеологи евразийства, вступила ныне в идеократическую эру. Справиться с нынешним кризисом может только великая, пронизывающая все сферы жизни идея. Идеи такого масштаба должны стать основанием для нового типа государственного правления, который евразийцы окрестили идеократией [Трубецкой 1927: 3–9; Евразийство... 1926: 52–55].

Здесь они опирались на традицию, глубоко укоренённую в России. В конце концов, и царское самодержавие, и диктатура большевиков были идеократическими системами. Вместе с тем русской традиции были чужды цезаристские грёзы. И до, и после революции в России имела место лишь в ограниченной степени автономия внеличных социальных и политиче-

ских институтов, равно как и автономия внеличных правовых норм. Вот почему уповать на «Цезаря», который придёт и отменит либеральное государство, лишённое «субстанции» и «величия», для русских условий было бы неестественно. В русской истории практически не фигурировало ни одного «цезаристского» деятеля. В России были цари, осуществлявшие порой не менее радикальные нововведения, чем западные «цезари»; но речь при этом шла об этактистских реформах сверху, и проводились они легитимными властителями страны. То же можно сказать о почитании царя низшими слоями народа: оно имело мало общего с западным поклонением «Цезарю». Царя почитали не столько благодаря его личным качествам и поступкам, сколько ради выполняемой им функции. В нем видели защитника православной веры, он был естественным завершением освящённого религией политического порядка.

V

Не будучи вполне беспочвенным в русской традиции, евразийство как духовное образование имело весьма мало общего со своими советскими современниками. Мечты о Святой Руси, об утраченных корнях были абсолютно чужды тогдашней советской интеллигенции. В Советской России 20-х годов царил исторический оптимизм и культ будущего. Атеистическая и материалистическая пропаганда, которая шла рука об руку с преследованиями церкви, добилась значительного успеха среди широких масс. Популяризация чудес науки и техники была призвана вытеснить и заменить веру в религиозные чудеса. Науковерие в большевистской России в самом деле приняло почти религиозный характер. Россия переживает эпоху наивного Просвещения, писал в 1930 г. Георгий Федотов. Материализм обретает статус нового вероучения [Федотов 1930: 297].

Что же касается идеологии евразийцев, то её культурно-пессимистический компонент по сути отражал процессы, которые шли в Западной Европе, а не в России. Да и в своей критике парламентаризма и эгоизма партий и разного рода заинтересованных групп евразийцы опирались в первую очередь не на русский, а на западноевропейский опыт. В России не было кризиса парламентской системы со всеми сопровождающими его явлениями — просто потому, что парламентаризм западного покроя здесь не успел развиваться.

Евразийцы предпринимали отчаянные усилия к тому, чтобы «шагать в ногу» с послереволюционной Россией, пытались отождествить себя с нею. Тем не менее весь их духовный настрой куда больше роднил их с Западной Европой, чем с соотечественниками в СССР. В конечном счёте они сами принадлежали, нравилось им это или нет, к европеизированному верхнему слою, гибель которого в революции они почти безоговорочно приветствовали. И тут снова приходится констатировать их отличие от «консервативных революционеров» в Германии. Эти были выразителями настроений значительной части своего народа. Их мечты о «Третьем рейхе», их радикальный антимодернизм, отказ от просветительско-либеральной традиции — всё это было вполне в духе времени. Консервативная революция была симптомом кризиса модернизации, который уже на переломе столетия охватил западный мир и с особой остротой проявился в «запоздавших» странах, таких как Германия или Италия.

Мировой экономический кризис 1929 г. нанёс ещё один удар по либеральному мировоззрению. Рухнула вера в то, что либеральная система способна к саморегуляции. Свободная игра экономических сил, принцип конкуренции оказались не в состоянии предотвратить небывалый хозяйственный крах.

Впрочем, зашаталась не только либеральная модель. Кризис испытало и марксистское мировоззрение, — кризис, похожий на то, что произошло спустя много лет, в 1989 г. Вспомним ещё раз Федотова: ещё в 1931 г. он писал, что идея социальной справедливости и защиты угнетённых явно потеряла привлекательность; вместо этого в Европе повсеместно растёт самый безудержный национальный эгоизм, готовый оправдать всякое распространение собственной нации в ущерб другим народам [Федотов 1931: 421–438; Федотов 1931].

Оказалось, что либерализм и марксизм переживают общую судьбу, что ров между ними не так уж глубок, как казалось вначале.

Что же связывало неуступчивый и нетерпимый, притязающий на владение абсолютной истиной марксизм с релятивистским и плюралистичным либерализмом? В первую очередь это была и осталась вера в разум, в человеческую способность овладеть как природными, так и социально-экономическими процессами. Оба мировоззрения торжествуют в эпохи, когда господствует вера в науку и прогресс. Когда уже увядает эта вера, бьёт час идеологов культурного пессимизма, певцов иррационализма, — бьёт час консервативной революции. В 1927 г. Гуго фон Гофмансталь определил консервативную революцию как восстание против невыносимо-неромантического девятнадцатого века, как поиск связей и уз, несовместимых со свободой. Эти искатели — не масса, а одиночки; своего рода нация одиночек [von Hofmannstahl 1955: 390–413].

Элитарная поза «консервативных революционеров» — прекрасная иллюстрация к этим словам. На так называемые народные массы, равно как и на массовые партии, «консервативные революционеры» взирали сверху вниз. С их точки зрения, эти партии были неотъемлемой частью веймарской системы, внушавшей им отвращение. Многие представители консервативной революции посмеивались над планами Гитлера совершить в Германии «легальную революцию» с помощью избирательных бюллетеней. Эрнст Юнгер считал, что, пересев на парламентского коня, Гитлер лишь демонстрирует свою ослиную глупость. Эрнст Никиш добавлял (в 1932 г.): кто избегает открытого столкновения, — как Гитлер — тот уже побеждён [Niekisch 1932].

Некоторые круги консервативной революции — и прежде всего группа, объединившаяся вокруг журнала «Ди Тат» («Деяние») и его издателя Ганса Церера, — искали сближения с нацистской партией, пытаясь подчинить её своему влиянию. В июле 1932 г. немецко-русский социал-демократ Александр Шифрин опубликовал статью о группе «Деяние». Замечания Шифрина во многом предвосхищают выводы современной исторической науки. Кружок «Деяние», писал автор, намерен использовать национал-социалистическое движение с целью осуществить «немецкий социализм». Однако и национал-социалисты сумели употребить этих союзников с пользой для себя, ибо получили духовную поддержку и дополнительные возможности инфицировать общественное мнение своей идеологией. Наивность таких людей, как Церер, не может служить для них, по мнению Шифрина, оправданием, эти люди «хотят быть обманутыми», хотят «соединить реакцию с социализмом» [Schifrin 1932: 97–108]. Строго говоря, А. Шифрин в этом пункте всё же заблуждался. «Консервативные революционеры» действительно были поразительно наивны. Они считали себя хладнокровными политиками, их расчёт был — позволить нацистам провести предварительную подготовку к последующей «подлинной» национальной революции. Решающим моментом подготовительной работы было свержение Веймарской республики. А там уж «консервативные революционеры» возьмут руководство в свои руки. Что же произошло? После 30 января 1933 г. они уже никому не были нужны. Вместо того чтобы пожать плоды чужой «работы», они сами расчистили путь нацистам.

Так существование консервативной революции оказалось неразрывно связанным с существованием столь нелюбимой «консервативными революционерами» Веймарской республики. Крушение Веймара — самый большой «успех» консервативной революции — разрушило и фундамент, на который опирались эти революционеры. В отличие от веймарских правительств большевики в России не терпели никаких идеологических конкурентов. Большевики рассматривали себя как победителей истории и в самом деле казались непобедимыми. Эта уверенность в себе не могла не произвести впечатления и на многих евразийцев. Отношение евразийцев к большевикам становилось всё менее критичным.

В 1929 г. движение раскололось. В Париже образовалось просоветское евразийское крыло во главе с Сергеем Эфроном (мужем Марины Цветаевой) и князем Дмитрием Свято-

полк-Мирским. Группа сплотилась вокруг газеты «Евразия». Позднее выяснилось, что Эфрон был агентом советской разведки. В тридцатых годах Эфрон и Святополк-Мирский вернулись в Советский Союз, где пали жертвой сталинского террора [Струве 1956: 73–77; Струве 1979: 232–236].

VI

Параллелизм в мышлении евразийцев и «консервативных революционеров» бросается в глаза. Встаёт вопрос, существовали ли между ними прямые контакты, влияли ли друг на друга оба течения? Если это и было, то крайне редко. Петр Савицкий жалуется (в 1931 г.) на неожиданно вялый отклик немецкой общественности на публикации евразийцев. В таких странах, как Польша, Чехословакия, Югославия, дело обстояло иначе [Савицкий 1931].

Может быть, слабое эхо евразийства в Германии объяснялось языковым барьером? Вряд ли. Антизападный манифест одного из отцов евразийства Н. Трубецкого «Европа и человечество», обнародованный в 1920 г., был переведён на немецкий язык уже в 1922 г. Весьма подробно писал о русских евразийцах в 1927 г. Ганс Римша в монографии «Зарубежная Россия» [Rimsha 1927: 182–193]. Так что связывать неуспех евразийцев в Германии с языковыми препятствиями нет оснований. Скорее этот неуспех был связан с тем, что «заграничная Россия» интересовала публицистов консервативной революции куда меньше, чем советское государство. Они были загипнотизированы (как, впрочем, и сами евразийцы) большевистским экспериментом и хотели «учиться у Советского Союза, чтобы научиться побеждать Запад».

А как обстояло дело с реакцией евразийцев на идеи консервативной революции? Реакция тоже была сравнительно слабой. Правда, евразийцы внимательно изучали писания Освальда Шпенглера и других интеллектуалов Веймарской республики. Однако феномен консервативной революции как таковой занимал их очень мало. Среди немногих исключений нужно назвать статью А. Антипова «Новые пути Германии» в евразийском сборнике «Новая эпоха» [Антонов 1933: 35–43]. Автор анализирует программы разных группировок консервативной революции — от кружка «Деяние» до группы «Сопrotивление» во главе с Эрнстом Никишем. Антипов не мог не заметить сходства с евразийством. Например, он пишет о том, что эти «младонемецкие» группировки, как и евразийцы, — враги либеральной экономики, что они точно так же выступают за сильное, интервенционистское государство и хозяйственную автаркию, верят в могущество идей и отстаивают идеократический режим. Вместе с тем автор статьи «Новые пути Германии» не может скрыть своей тревоги по поводу геополитических планов консервативной революции, фанатической веры в предназначение Германии установить новый порядок в Центральной и Восточной Европе. Такой порядок, по мнению Антипова, неминуемо приведёт «молодую» Германию к столкновению с Россией.

Лишь очень немногие участники тогдашних событий видели, подобно А. Антипову, разительное сходство консервативной революции с идеологией евразийства, несмотря на то, что оба течения развивались совершенно независимо друг от друга. Общим было у них, прежде всего, отталкивание от Запада и поиск альтернативы западной эволюционной модели. Этого общего знаменателя оказалось достаточно, чтобы сблизить всё мировоззрение.

VII

Раскол 1929 г. нанёс евразийскому движению удар, от которого оно уже не могло оправиться. Вторая половина 30-х годов была временем его разложения. Таким образом, евразийство сошло со сцены приблизительно тогда же, когда угасла консервативная революция. Но в отличие от «консервативных революционеров», евразийцы, по-видимому, не оставили никаких идеологических следов. Третий рейх, провозглашённый в 1933 г. во главе с харизматическим «фюрером», всё же являл собой, хоть и в карикатурной форме, осуществление некото-

рых надежд «консервативных революционеров». Евразийская же империя так и не возникла. Отныне доктрина евразийства представлялась всего лишь курьёзом — закрытой страницей идейной истории русского Зарубежья.

Тем не менее в мире идей царят свои законы, чреватые всякими неожиданностями. Евразийским идеям, казалось бы, похороненным навсегда, суждено было спустя 50 лет пережить совершенно непредвиденное возрождение.

Крушение большевизма, этого идеологического контрагента евразийцев, способствовало в конце 80 – начале 90-х годов обновлению их популярности. После того как потерпел фиаско «пролетарский интернационализм», в России ищут новое знамя, под которым могли бы сплотиться все народы и конфессии евразийского континента. С новой силой разгорелся спор о путях развития России. Для новых западников совершенно так же, как и для их предшественников в прошлом веке, Россия — европейская окраина и только. Своеобразие этой страны, с их точки зрения, состоит прежде всего в её «отсталости». Западная эволюция — это норма, и к ней рано или поздно должна будет принориться Россия.

Национально настроенные группировки считают такой взгляд далёким от действительности. Россия, по их убеждению, никогда не превратится в «нормальное» европейское государство. Российские институты, российские традиции настолько своеобразны, что механическое перенесение западных моделей на русскую почву неизбежно провалится.

Активным критиком неозападников — или, как их теперь иногда называют, «атлантиков» — является бывший советник президента Ельцина Сергей Станкевич. Он напоминает, что Россия более чем наполовину расположена в Азии и отделена от Запада поясом вновь возникших независимых государств. Россия сдвинулась на Восток, и правительство в Москве должно сделать из этого соответствующие выводы. Стремясь войти в клуб западных индустриальных наций, Россия ни в коем случае не вправе пренебрегать своим азиатским компонентом [Станкевич 1992а; Станкевич 1992б].

Позиция С. Станкевича расценивается многими как возрождение идеологии евразийства. В значительно более агрессивной форме эта идеология представлена людьми, группирующимися вокруг газеты «Завтра». Эти люди хотели бы на базе евразийской идеи восстановить советскую империю. Евразийские мотивы подхвачены и другими журналами и газетами.

Слабость нового евразийства — в том, что оно так и не сумело добиться широкого признания. Речь идёт лишь об отдельных элитарных кружках — совершенно так же, как это было в 20-х и 30-х годах. Для русских националистов евразийская идея чересчур абстрактна, то же можно сказать и о большинстве интеллигентов в исламских республиках бывшего СССР. При всей своей оригинальности программа евразийства, судя по всему, вновь обречена на провал.

Перевод Б. Хазанова

Алексеев Н.Н. 1928. Обязанность и право. — *Евразийская хроника*. — № 10.

Антонов А. 1933. Новые пути Германии. — *Новая эпоха. Идеократия. Политика. Экономика. Обзоры*. — Нарва.

Евразийство... 1926. *Евразийство. Опыт систематического изложения*. — Париж.

Исход к Востоку... 1921. *Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев*. — София.

Ленин В.И. 1968. *Полн. собр. соч. Т. 21*. — М.: Издательство политической литературы.

Леонтьев К.Н. 1885. *Восток, Россия и Славянство*. Т. 1. — СПб.

Савицкий П. 1931 *В борьбе за евразийство*. — Париж.

- Савицкий П. 1921. Поворот к востоку. — *Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев.* — София.
- Станкевич С. 1992. Держава в поисках себя. Заметки о российской внешней политике. — *Независимая газета.* — 28 марта.
- Станкевич С. 1992. Россия, 1992-й. Предел допустимого. — *Комсомольская правда.* — 26 мая.
- Струве Г. 1979. Кн. Д.П. Святополк-Мирский о П.Б. Струве. — *Вестник Русского Христианского Движения.* — № 130.
- Струве Г. 1956. *Русская литература в изгнании.* — Нью-Йорк.
- Сувчинский П. 1923. Страсти и опасности. — *Россия и латинство.* — Берлин,
- Троцкий Л. 1924. *Пять лет Коминтерна.* — М.
- Трубецкой Н.С. 1925. *Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока.* — Берлин.
- Трубецкой Н. 1925. Мы и другие. — *Евразийский временник. Книга четвёртая.* — Берлин.
- Трубецкой Н. 1927. О государственном строе и форме правления. — *Евразийская хроника.* — № 8.
- Трубецкой Н. 1921. Об истинном и ложном национализме. — *Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев.* — София.
- Трубецкой Н. 1927. Общеевропейский национализм. — *Евразийская хроника.* — № 9.
- Федотов Г. 1939. К смерти или к славе. — *Новый Град.* — № 14.
- Федотов Г. 1930. Новая Россия. — *Современные записки.* — № 41.
- Федотов Г. 1931. Социальный вопрос и свобода. — *Современные записки.* — № 47.
- Федотов Г. 1931. Сумерки отечества. — *Новый Град.* — № 1.
- Флоровский Г. 1922. О патриотизме праведном и греховном. — *На путях. Утверждение евразийцев. Книга вторая.* — Берлин.
- Шахматов М. 1925. Государство правды (Опыт по истории государственных идеалов в России). — *Евразийский временник.* — № 4.
- Шахматов М. 1923. Подвиг власти (Опыт по истории государственных идеалов в России). — *Евразийский временник.* — № 3.
- Alexejew N. 1929. Das russische Westlertum. — *Der russische Gedanke.* — № 1.
- Buchheim H. 1958. *Das Dritte Reich. Grundlagen und politische Entwicklung.* — München.
- Forsthoff E. 1933. *Der totale Staat.* — Hamburg.
- Hofmannstahl H. von. 1955. Schrifttum als geistiger Raum der Nation. — Hofmannstahl H. von. *Gesammelte Werke. Prosa.* — Frankfurt/Main.
- Jünger E. 1932. *Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt.* — Hamburg.
- Jünger E. 1933. *Der Kampf als inneres Erlebnis.* — Berlin.
- Klaus-Friedrich B. 1963. *Das Politische bei Ernst Jünger.* — Heidelberg.
- Landauer C., Honegger H. 1928. *Internationaler Faschismus.* — Karlsruhe.
- Luks L. 1986. Die Ideologie der Eurasier im zeitgeschichtlichen Zusammenhang. — *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.* — № 34.
- Moeller van den Bruck A. 1931. *Das Dritte Reich.* — Hamburg.
- Moeller van den Bruck A. 1933. *Der politische Mensch.* — Breslau.
- Namier L. 1947. The Course of German History. — *Facing East.* — London.
- Niekisch E. 1953. *Das Reich der niederen Dämonen.* — Hamburg.
- Niekisch E. 1932. *Hitler — ein deutsches Verhängnis.* — Berlin.
- Nietzsche Fr. 1926. *Gesammelte Werke.* — München.
- Rauschning H. 1941. *The Conservative Revolution.* — New York.
- Rimscha H. v. 1927. *Rußland jenseits der Grenzen 1921–1926. Ein Beitrag zur russischen Nachkriegsgeschichte.* — Jena.

- Sauer W. 1967. National Socialism: Totalitarianism or Fascism? — *The American Historical Review*. — № 73.
- Schifrin A. 1932. Adelfaschismus und Edelfaschismus. — *Die Gesellschaft*. — № 7.
- Schmitt C. 1963. *Der Begriff des Politischen*. — Berlin.
- Schmitt C. 1931. *Der Hüter der Verfassung*. — Tübingen.
- Schmitt C. 1932. *Legalität und Legitimität*. — München-Leipzig.
- Spengler O. 1920. *Preußentum und Sozialismus*. — München.
- Turner H.A. 1972. *Faschismus und Kapitalismus in Deutschland*. — Göttingen.
- Weber M. 1958. *Gesammelte politische Schriften*. — Tübingen.